

Вадим МЕСЯЦ



ПОКЛОНЕНИЕ НЕВЕСОМОСТИ

избранные стихотворения

Вадим Геннадьевич Месяц

Поклонение невесомости

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72303106

Поклонение невесомости:

ISBN 978-5-7584-0737-0

Аннотация

В сборник «Поклонение невесомости» вошли избранные стихотворения, написанные Вадимом Месяцем с 1984 по 2024 год. Книга составлена из наиболее традиционных текстов, специально отобранных автором. Академик Вяч. Вс. Иванов определял эту поэтику как «сложные построения в духе нового барокко», И. А. Бродский говорил про «обиняковость, косвенность речи», А. Парщиков считал, что в этой поэзии «есть целый заповедник ситуаций, никогда не попадавших в чьё-либо поле зрения». По мнению Юрия Казарина, «в России нет поэта с такой разнообразной просодией, вобравшей в себя и силлаботонику, и тонику, и дольник, и верлибр, и белый стих, и поэтический нарратив, и неизбежные восклицания, всхлипы, шёпот и говорение». Вадим Месяц не идёт на поводу у готовых контекстов – он создаёт их сам, сознательно уклоняясь от модных трендов, оставаясь в поле своей игры, расширяя и усложняя её. От попыток создания архаичного эпоса и мирового фольклора до бесконечных постмодернистских «сонетов», где ирония иронизирует над иронией, а отрицание отрицает отрицание.

Ставка в его стихах сделана на обаятельный абсурд, исторические аллюзии, провокативную карнавальность в контрасте с наивным письмом и обезоруживающей лирикой.

Содержание

«Ленту белую свою...»	8
Из сборника	34
Любовь гнома	34
Зимний вечер	35
Воздушный шар	36
Холостяцкая песенка	38
Сообщник	39
Души бездорожья	40
Старец из китайского фарфора	41
Мюнхгаузену, знаменитому вспоминальщику	42
Калиостро	44
Императрица и её гости на Волге	46
Нарва-Йыэсуу	48
Английская набережная	49
Песня	51
Цыганёнок	53
«Бабы ласковые руки...»	54
«В сторожке летели недели...»	56
«Говорила, станешь паном...»	57
Кузбасский посёлок	58
Memento на дачную тему	59
Песенка сквозняка	61
Календарь вспоминальщика	62

Из сборника	63
Джефферсон-стрит	63
Воспитание иголки	64
Убежище	65
Черноморская песенка	67
Вифлеем	68
«Тронуть шторы пыльный кокон...»	69
«Это в памяти и вечно на слуху...»	70
Опыты со снегом	71
Злые дети	73
До свидания	74
Угловой дом	75
Невидимые встречи	77
Саванна	78
Сон в Сан-Хосе, почти во Фриско	80
Монте-Дьябло	82
Русский путешественник (1)	84
Русский путешественник (2)	86
Из сборника	88
«До рассвета ласточке влюблённой...»	88
Свадебное путешествие	89
Голограмма	91
Shell beach	92
Сердце-пастырь	95
Дельта	97
Обряд	98

Зимний дендрарий	99
Предновогодняя прогулка по Свердловску	101
Мечь	103
Табу детской комнаты	105
Калиф на час	106
Песня	107
Зима в Ливадии	109
«Ты однажды приедешь в пустынный дом...»	111
Изумрудный город	113
Рождественская считалка	114
«Ты, наверно, ничего не поймёшь...»	115
Цинга	116
«Только там, где сможешь ты проснуться...»	118
Конец ознакомительного фрагмента.	120

Вадим Месяц

Поклонение невесомости

© В. Месяц, текст, 2024

© Ю. Казарин, предисловие, 2024

© Д. Борисов, фото, 2024

© Р. Рубанов, рисунок, 2024

© Кабинетный учёный, 2024

«Ленту белую свою...»

Несколько слов о стихах Вадима Месяца

1

Бог подарил мне дружбу с поэтом Вадимом Месяцем, которая длится и укрепляется более 40 лет. Этот поэтический говоритель и песенный мечтатель – с учётом времени планетарного и социального – за долгие годы ничуть не изменился: уникальный голос свободного разума, открытого сердца и чистой души работает в лингвопоэтическом космосе по-прежнему вольно, напряжённо (энергично) и с вызовом. Иосиф Бродский писал когда-то о ранних стихах этого ни на что и ни на кого не похожего автора: «Стихи эти вызывают во мне зависть не столько даже к тому, как они написаны (хотя и к этому тоже), сколько к внутренней жизни, за ними происходящей и их к жизни внешней вызывающей». Об этой внутренней жизни и о том, насколько она внутренняя, мне бы и хотелось поговорить. Произносителей своих, как сегодня любят говорить, «текстов» – много. А поэтов, которые бросают вызов бытию, инобытию, интербытию, – единицы.

Языковая, текстовая, художественная, поэтическая личность многомерна и стереоскопична. Проще говоря, в человеке уживаются человек и поэт, а в поэте – поэт и человек. Две эти сущности постоянно и неизбежно находятся в отношениях то тождества, то взаимоисключения, то в состоянии родовидовой партитивности (когда человек «включается» в поэта и наоборот), то в ситуации пересеканности, а иногда – очень редко – они живут и работают в ограниченном (или неограниченном) поле «абсолютной» свободы (друг от друга). Поэт мучает, изматывает человека в себе, а порой человек не даёт поэту слушать, слышать, плакать и петь, думать и переживать прошлое, настоящее и грядущее. Человек обусловлен и детерминирован своей антропологичностью, своей биологической жизнью, социальным существованием, эмоциональными перегрузками, психологической напряжённостью, разрушительной энергией прагматичности истории, географии, эпохи, государства, своей амбициозностью и амбициозностью общества, практицизмом урбанистической цивилизации и т. д. и т. п. Человек по определению должен ненавидеть в себе поэта. Он должен убить его в себе.

В чистом небе лёгким птицам нет числа.
Прошлогодний под ногами мнётся лист.
Знает только половецкая стрела:
наша жизнь – всего лишь долгий свист.
Знает только москворецкая хула,

что мне сердце без печали не болит.
Улыбнёшься ли – привстанешь из седла,
а по Волге лёд уже летит.

Союз страшного и прекрасного в поэзии Вадима Месяца держится на чудовищно противоречивом соединении, единении, единстве человека и поэта.

Помнит ли человек, что в нём есть поэт? Вспоминает ли поэт, что в нём есть человек? Асимметрия художественной личности – феномен очевидный: двойственность, множественность поэтической личности – явление уникальное, к шизофрении никакого отношения не имеющее. Человек в человеке может быть верующим и воцерковлённым, а поэт в человеке этом – язычник (и наоборот: вспомним Пушкина и Мандельштама). Такая антрополичностная, антропохудожественная и антропоонтологическая бинарность (как минимум) настораживает общество, пугает обывателя и разочаровывает государство. Даже женщина не знает, кого она любит: человека? поэта? Или человека и поэта одновременно (вспомним, как Марчелло Маджорани оставляли и бросали все женщины, которых он любил). Не знаю ни одного поэта (среди иных художников такие бывали), прожившего социально и духовно целостную счастливую семейную жизнь.

Драматизм двойственного существования человека пишущего – феномен очевидный. Такая «драма» чревата трагедией и, наконец, катастрофой. Назову цифры, которые но-

минируют рубежи биологического возраста человека-поэта, переживающего смерть (как материализованную, так и состоявшуюся «частично», когда в человеке-поэте умирает поэт): 22 года, 27 лет, 30 лет, 33 года, 37 лет, 40 лет, 44 года, 55 лет и т. д. (см. мою книгу «Последнее стихотворение»). Человек и поэт (в человеке), как правило, существуют в разные стороны: векторы двух субстанциональных процессов (чаще всего) разнонаправленны. Но если человек не знает тайного пути поэта (в себе), то поэт предвидит одновременно две судьбы – свою и человека, в котором он вынужден существовать.

Приносили в горницу дары:
Туеса берёзовой коры,
молоко тяжёлое, как камень.
Я смотрел на ясное крыло,
говорил – становится светло.
Голову поддерживал руками.
Мама в белой шали кружевной
пела и склонялась надо мной.

В этом стихотворении В. Месяц – как автор и лирический субъект – создаёт уникальный образ совокупного и цельного человека-поэта, когда человек адекватен поэту, а поэт адекватен жизни, до-жизни и после-жизни. Счастливый случай: стихотворение смотрит во все стороны жизни, смерти и любви – глазами жизни и поэзии.

РЫБАЦКАЯ СЧИТАЛКА

Одеялом фиолетовым накрой,
нежно в пропасть мягкотелую толкни.
Я бы в бурю вышел в море, как герой,
если справишь мне поминки без родни.

Верхоглядна моя вера, лёгок крест.
Не вериги мне – до пояса ковыль.
По ранжиру для бесплодных наших мест
причащеньем стала солнечная пыль.

Только спящие читают как с листа,
злые смыслы не упавших с неба книг,
вера зреет в тёмном чреве у кита
и под плитами томится как родник.

Возле виселицы яблоня цветёт,
соблазняя на поступок роковой —
небесами тайно избранный народ
затеряться средь пустыни мировой.

Рвётся горок позолоченных кольцо,
сбилась в ворох сетка северных широт,
раз за мытаря замолвлено словцо,
он с улыбкой эшафот переживёт.

Присягнувшие морскому янтарию,
одолевшие молитву по слогам,
я сегодня только с вами говорю,
как рыбак твержу унылым рыбакам.

Трепет пальцев обжигает тело рыб,
мы для гадов – сгустки жаркого огня.
Если я в открытом море не погиб,
в чистом поле не оплакивай меня.

Месяц здесь – герой в древнем романтическом смысле этого слова. Мифологический, бессмертный, божественный (в основном значении этого прилагательного), как все подлинные поэты. Месяцевская просодия уникальна: она – как поле, где с одной стороны дорога, с другой – река, с третьей – лес, а с четвёртой – небо. Просодия Вадима Месяца – это не голос, но голоса многие, бóльшая часть которых неслыханная, однако бывшая когда-то и будущая, грядущая из слоёв времени земли, жизни, смерти, любви и поэзии. Эта просодия – явление не только акустическое, но и хронотопическое: время находит своё место в звучании этих стихов и не просто остаётся в нём, а и продолжает разрастаться, разрывая строфические сосуды текстов, и переходит в сказ, в миф, в песню, в плач, в песнь, в тишину и в шёпот – в воздух, которым дышат не только люди, звери и птицы, но и ангелы – ангелы памяти и ангелы вечности. Птица, зверь и человек здесь говорят одновременно, и такое трио акустически дарит

свой звук всему, что (кто) лишено слуха и что (кто) начинает слышать. Слышать – это одно из базовых качеств поэта.

ЛЮБОВЬ ГНОМА

Синица, синица, давай жениться.
Открою форточку – жду невесту.
Я подарю тебе белую нитку.
Ты мне – зёрнышко манны небесной.

Нитка – это твои наряды.
Зёрнышко – наше с тобой угощенье.

Свадьба – это моё утешенье.
Понятно?
Лапкой ты отпечатаешь крестик.
Пальцем я отпечатаю нулик.
Не улетай после свадьбы, невеста.
Песенку спой, чтобы я улыбнулся.

Слышать и чуют свой путь. Свой тайный путь: от жизни к мифу, от мифа к жизни.

Вадим Месяц – автор более чем трёх десятков книг стихотворений, прозы, эссеистики, лауреат многих литературных премий. Его стихи и проза были высоко оценены Иосифом Бродским, Александром Зиновьевым, Михаилом Леонovichем Гаспаровым, Вячеславом Всеволодовичем Ивановым и др. Стихи и проза переведены на все основные западноевропейские языки. В 2004 году В. Месяц совершает свой

главный «паралитературный» поступок: он организывает и открывает Центр современной литературы и издательский проект «Русский Гулливер», печатающий стихи и прозу авторов, по какой-то причине «не получивших должного приёма в нашей культуре». Он обращается к «нераскрученным» поэтам и писателям в надежде, что на них обратят внимание, так же как и он обратил на них внимание сам. 20 лет работает на свой страх и риск. Его «поэзия действия» и есть поиск того тождества между литературой и жизнью, о которой я заговорил ранее, а лозунг «Русского Гулливера» – «Поэзия или смерть» – означает лишь то, что жизнь и есть поэзия, и наоборот. Широк русский человек, широк – и «сужать» его по-достоевски нельзя: по-другому он не может. Не выживет. Помрёт. Есть в Вадиме Месяце, человеке и поэте, две черты – щедрость и ненасытность; он щедр во всём: и в работе, и в жизни, и в писательстве, и в поэзии, и в познании мира, себя и ближних-дальних своих; он ненасытен во всём: и в мышлении, и в писаниях своих, и в любви, и в дружбе, в сотворении мифа и мира своего, и в говорении, и в вербализации всего сущего – физического, метафизического и интерфизического. Месяц – художник и деятель, деятель и поэт – прежде всего отыскивает и создаёт связь и связи между эстетикой и этикой, нравственностью: связи между красивым и страшным, между ужасом и счастьем, которого нет, но есть где-то покой и воля.

Я ЦАРЮ В СТОЛИЦЕ ПОВЕРИЛА

Я царю в столице поверила,
пожелала ему быть царём всегда.
В лес вошла, а там скрипит дерево,
так скрипит, что стынет в реке вода.

И в дубравах с распростёртыми кронами
нет покоя, а скрыта в глуши беда:
облетевшими обагрёнными
листопадами плачет, как от стыда.

Я искала его, воздух слушала,
прислонялась щекою к глухим стволам.
И могилы с уснувшими душами
удивлялись словам моим и делам.

Я нашла его там, где не ходит зверь,
где синица падает замертво.
Среди леса стоит и скрипит, как дверь,
то ли дерево, то ли зарево.

И увидела я тёмную страну,
где столица горит ярким пламенем.
Вот и вспомнил мой царь давнюю вину,
огню теперь грозит чёрным знаменем.

Половецкою стрелой – червоточиной
сверлит сердце ему, как алмаз нефрит.
И лицо его моею пощёчиной
уж который год на ветру горит.

Призрак сюжета, фабулы этого стихотворения сначала облекается в звук (просодия), затем слова (в основном коренная, исконно русская лексика общеупотребительного и генерально-смыслового характера) образуют вербально ассоциативный, фоносемантический и фабульносмысловой конструкт, который под воздействием зоо-, фито-, вообще натур- и антропоморфии расширяется (как зрачок Бога) в жизнь, и лицо у неё вечно горит от пощёчины познания, страдания, счастья, руки и воздуха – горит!..

2

Книга стихотворений «Поклонение невесомости» представляет собой выборку из поэтических книг Вадима Месяца: от «Календаря воспоминальщика» (1992) до «Убеги из Москвы» (2023). Это собрание характеризуется прежде всего тройной (и в целом множественной) синергетичностью: во-первых, антропологического («возрасты» автора и текстов), во-вторых – этико-эстетического характера, когда эстетика песни тяготеет и трансформируется в этику и нравственность жанра, который назову «песнь», и в третьих, жан-

ровый синтетизм и жанровая универсальность становятся в этой книге особым, объединительным и уникальным способом поэтического познания, который можно определить как песнь песней, не библейской жанрово-тематической природы, а природы иной – мифолого-онтологической. Повторная публикация стихотворений дает им не просто вторую жизнь – освежительную, но и воскрешает тексты в ином интенциональном, смысловом и этикоэстетическом отношении, когда «Песенка» (сквозняка) трансформируется в сказ и нарратив. Здесь возрождаются тексты молодости Вадима Месяца, переосмысливается «дикая этика» его «раннемифологических» «Мифов о Хельвиге», приводятся образцы виртуозных «сонетов к Леруа Мерлен» и нежный абсурд «Пани Малгожаты», жесткая любовная лирика последних лет. «Поклонение невесомости» – это знак прежде всего вертикального движения души поэта.

Поэта разного и разнообразного, каких в России нет: здесь дантовский замах, от которого леса пригибаются, как травы и воды, не пожелавшие и не смогшие востечь в небеса. Многообразии и разнообразии предметов поэзии, звуков, мелодий, ритмов и смыслов книги не приводят в смятение слух, потому что за этим богатством у поэта всегда чувствуется монастырь. Монастырь как одиночество певца, творца, пловца и поэта. Монастырь Месяца – не крепость, не скит, не пещеры, а нравственный, этико-эстетический топос, где душа и дух поэта говорят не то, что нужно чиновникам и рынку, а

то, что превращает пространство во время, в вечность, в историю, в культуру, в миф, внутри которого хранится, живёт и движется бессмертные мысли, образа и музыки.

В ЛАВКЕ ПЛЯШЕТ ЗАЗЫВАЛА

В лавке пляшет зазывала.
Сторож ходит третий круг.
Нас на свете не бывало —
это выдумки, мой друг.

Мы ещё – снега в дороге
из галактики иной.
Скоро рухнем на пороге
по ступеням сединой.

И во тьме, ещё до снега,
в колыбели на лету
пух неправдашного века
закружится в пустоту.

Хорошая иллюстрация к понятию невесомости. Предметы поэзии здесь – до-бытие, здесь-бытие, после-бытие и, наконец, инобытие. Онтологический монастырь поэта – это пространство немереное: из него во все стороны света, тьмы и души видно. Вот – русский традиционализм, который выражается не силлаботоникой, а неизменным объектом и предметом поэзии: непознаваемое, ненарекаемое, невыразимое, то есть то, что мы называем по привычке жизнью, смертью, любовью, Богом, душой и Духом, историей, временем,

вечностью, человеком, пространством, бездной.

Вадим Месяц – поэт бездны. Бездны, которая есть и в мифе, и в памяти, и в истории, и в душе, и в языке, и в голосе, и в ритме. Месяц – традиционер. Не модернист, не традиционалист, а традиционер. Поэт не «следует традиции», а сам есть традиция (из русского языка с его акцентологией, фонетикой, силлабикой и свободным синтаксисом – не убежишь; от него не отбежишь, не отпрыгнешь, а если ты и «выпрыгиваешь» из него, то оказываешься уже не в зауми (это – свойство языковой семантики), но в безумии). Традиция природы русского языка «ведёт» Месяца сквозь речь – в миф, в духовность, в культуру. Традиция языка и традиция стихосложения – разные сущности: первая – для великих, вторая – для стихотворцев-реформаторов. Месяц «следует» прежде всего традиции природы. Природы языка и природы поэзии. Природы текста и природы культуры. А главное – «природы природы». Поэтическое познание Месяца – естественно. Естественность, то есть – неизбежность, неотвратимость, такого познания (не себя, любимого, но поэзии, красоты, ужаса и невыразимого) требует от поэта использовать оптимальные методы познания: поэт «использует» себя (самоистребление) – и впадает, целиком, в традицию, созданную астрономическим, космическим порядком и хаосом; именно порядок и хаос, а короче – хаокосм, «показывает» поэту «традицию» – по голосу его, по душе его, по сердцу его, по уму его и по голосу. Грех не замечать это-

го. Месяц создаёт и пересоздаёт свою книгу, воссоздавая и себя молодого, и себя зрелого, и себя – до-себя, и себя – после-себя.

Эволюционная метаморфоза предметов поэзии В. Месяца (с учётом всех его книг) такова: историко-генетическое → историческое → социальное → этико-эстетическое → интимное → нравственное → онтологическое; данная парадигма параллелизируется и пересекается с парадигмой смысло-тематической природы: мифологическое → социомифологическое → индивидуально-мифологическое → автомифологическое → онтомифологическое (бытийное, глобальное) – эти поэтические, поэтологические и текстовые парадигмы (системы) формируются и распространяются энергией поэтической интенции Месяца. Интенциональный вектор его поэзии таков: опыт → текст → архетекст; или: архетекст – текст – опыт. Вектор данной интенции – вертикален и спиралевиден (но – не круг!); точка разрыва/взрыва (появление стихотворения), или точка встречи поэзии и языка, – в «я», в интимном, трансформирующемся в бытийное, в онтологическое.

Современное стихотворчество страдает просодической мимикрией: просто есть поэты, которым нечего сказать (нет предмета поэтического познания), вот они и экспериментируют – ищут доноров просодических; сегодня самые щедрые доноры – Бродский и Феномен Верлибра (сложное имя). Просодия Месяца соприродна русскому языку, русскому пе-

нию-говорению-плачу, русскому нежаркому воздуху; с другой стороны, она соприсродна веществу поэзии и жизни: в России нет поэта с такой разнообразной просодией, вобравшей в себя и силлаботонику, и тонику, и дольник, и верлибр, и белый стих, и поэтический нарратив, и биологически/анатомически неизбежные восклицания, всхлипы, шёпот и говорение. Индивидуальность просодии обусловлена не только антропологичностью, но и предметом поэтического познания. Предмет поэзии Месяца сложен, множественен и крайне вариативен, поэтому и просодия – как тень, как отражение, как кожный покров поэзии – столь многообразна.

ЦВЕТОК

Я делю воду с цветком,
что мне подарила моя подруга.
Полстакана ему – полстакана мне.
Я делаю глоток и чувствую,
как вода устремляется в живот,
и в нём начинают шевелиться,
словно в прогретой земле,
лохматые живые корни.

Вот как это происходит: и творение, и любовь, и ращение, приращение, наращение *нового*. Здесь Месяц пошёл дальше Н. Заболоцкого: поэт дал вольную любому произрастанию любви. И это – чудо. Поэзия вообще чудо. Персональное чудо любви.

Зрение у поэта Месяца – шарообразное (не стрекозное/фасеточное, а полно-завершённое шарообразное, не покружное, а орбитально-сетевое, когда сеть гуще деревенского сита. Это – особое сито: оно просеивает само себя – и меняется мир над и под ситом, под взором, под светотьмой). Светотьма – вот строительное вещество поэзии Месяца. Тьма копошится в нас, требуя света, который копошится (и поэт это знает) внутри тьмы. Месяц знает, какой он – снегопад – изнутри.

Поэзия Месяца загадочна: не потому, что в ней есть ассоциативно-смысловые провалы, бездны, прорвы, а потому, что поэт, ступивший на свой тайный путь, работает с новым глобальным предметом —

энигмой.

Новая книга Вадима Месяца – это новые отношения с «обновлённым», с «обновившимся» временем, которое объявляется теперь не само по себе, не спонтанно и не окказионально, а – неотвратимо.

МАША И МЕДВЕДЬ

Дашке

Она подпрыгивала, как собачка.
Увидав мороженое у прохожих,
была готова вырвать его из рук.
Немногие знают, в чём заключается счастье.
Она знала.

Плясала и била в ладоши,
удачно сходяв на горшок.
Приглашала меня водить хоровод.
И я соглашался.

Мы любили многосерийный мультфильм «Маша и медведь».
По утрам прибегала с планшетом,
просила найти кино в интернете.

Нам было ясно:
по жизни она была Машей, а я – медведь.

«Благословен Властный Адама воззвать
и возвратить его в рай!»

Когда-нибудь по мостовым Бейрута
мы побежим навстречу друг другу, раскинув руки.

Чувство отцовства у поэта – коренное («Мои русские дети: Артемий, Варвара и Дарья»), он предок не только стихов своих, но и времени, места и неба над ним. С дочерью – как с временем. И с временем – как с дочерью. Вот где сокрыта тайна – в этой множественной природе связи. Связи как поэзии и поэзии как связи. В новых стихотворениях Месяц создаёт обновлённую гармонию поэтического натиска на обыденное: фольклорное, мифологическое больше *не* перерастает в бытийное, подминая под себя бытовое, – теперь бытийное буквально врезается в обыденное.

В новых стихотворениях Месяца ощущается бесстрашие живущего одновременно вечно и смертно, когда поэт *знает*, что как человек он умрёт точно, а вот как поэт... Здесь – как земля ляжет, леса встанут, небеса надвинутся. Это – великая мука, известная только крупным художникам. Избыточность ментального, божественного, чудесного и духовного оборачивается мужеством. Мужеством поэта, непрестанно познающего счастье боли: боль познания всегда оборачивается горем или горьким счастьем (Экклезиаст). Месяц – поэт мужественный: он *всегда* бросается в кипящее молоко времени сразу и без оглядки. Поэт, по божественному счёту, сам есть время. Он вышел из времени, был временем – и ушёл во время.

В новой книге есть целый ряд выдающихся стихотворений, среди которых «Чертополох» – знак серьёзных отноше-

ний между поэтом и бытием. Такие отношения не кончаются никогда – в этом одновременно и ужас, и счастье творца.

ЧЕРТОПОЛОХ

Воровать снотворное у отца
с прикроватной тумбочки у окна.
Слишком громко в доме стучат сердца,
слишком шумно идут пузыри со дна.
Пробираться на цыпочках в темноте,
постаравшись хозяина не будить.
Ждали новых времён, а пришли – не те.
И о них теперь не тебе судить.
Ночь вращает тяжёлые жернова,
в порошок стирая чертополох,
истончая на звуки мои слова,
сокращая дыханье на краткий вздох.
Стоит лишь преступить закон,
как за ним начинается благодать.
Откажись от книг, сторонись икон.
А не можешь жить – начинай летать.

Ментальный полёт Месяца длится, несмотря ни на что:
Месяцчеловек не может жить социально, обывательски, как
все, и поэтому Месяц-поэт летает.

РАССВЕТНЫЕ СТРАХИ

Когда тянулся тщетно взять взаймы
любви и силы у того, кто любит,
чтоб на дорогу выбраться из тьмы,
уверенный, что утро не наступит,
и раскрывая окна впопыхах
в пролётных поездах и сырых дачах,
я отпускал на волю древний страх,
потерянный в дешёвых неудачах,
бросал монетки в чёрный ствол ружья,
будто в земной бессмысленный колодец,
не отличая собственного «я»
от записных уродов и уродиц,
но утро наступало, как всегда,
и возвращало на места предметы,
и холодела в озере вода,
и на земле, как сон, кончалось лето.

У Вадима Месяца есть несколько стихотворений «про меня»: узнаёшь себя – и вздрагиваешь, осматриваешь себя, оглядываешь окрестности и понимаешь, с какой силой мы сталкиваемся, когда поэзия вырастает в нас и когда поэзия уходит из нас. Я знаю очень немногих (а это О. Мандельштам, И. Бродский, их предшественники Ф. Тютчев, Е. Баратынский, и подревнее – Г. Державин, В. Жуковский и непре-

взойдѣнный Иван Семѣнович Барков), кто «бросает» своими стихами бесконечный, вечный и плодообещающий вызов одновременно бытию, инобытию, интербытию; звучанию фонетическому, полѣту стиха музыкальному, любой онтологически оснащённой мысли; социальноинтеллектуальной жвачке, а главное, бесплодной актуальности, литературности и обобществлённости поэтической интенции, которая перерождается в версификаторскую импотенцию. Месяцевская поэтическая скороговорка – неповторима, убедительна и действенна: она подгоняется, разгоняет до высочайших скоростей мышление читателей и коллег.

Я корову хоронил.
Говорил сестре слова.
На оплот крапивных крыл
упадала голова.
Моя старая сестра,
скоро встретимся в раю —
брось на камушки костра
ленту белую свою.

(из «Восьмистиший»)

Моя старая сестра – значит «вечная». Поэт вечно плачет, хороня время, поэт вечно говорит слова – они и есть *наше* время, поэт вечно опускает голову на грудь, упираясь затылком в звѣзды, поэт вечно в раю со своей бессмертной сестрой/поэзией, бросающей белую ленту на раскалён-

ные камушки костра.

ЮРИЙ КАЗАРИН

поэт, доктор филологических наук, профессор

Из сборника «Календарь вспоминальщика» (1992)

Любовь гнома

Синица, синица, давай жениться.
Открою форточку – жду невесту.
Я подарю тебе белую нитку.
Ты мне – зёрнышко манны небесной.

Нитка – это твои наряды.
Зёрнышко – наше с тобой угощенье.
Свадьба – это моё утешенье.
Понятно?

Лапкой ты отпечатаешь крестик.
Пальцем я отпечатаю нулик.
Не улетай после свадьбы, невеста.
Песенку спой, чтобы я улыбнулся.

Зимний вечер

Красным солнечным лучом
бродит свет по тротуарам.
Тот, кто стал сегодня старым,
забывает, что почём.

Сколько стоит разговор
с незнакомцем из трактира,
если с брюк своих полмира
он стряхнёт, как будто сор.

Если кружкой пивной
завершив свой путь, отныне
наши прежние святыни
вдруг получают выходной.

И неясно, почему
старше став рублей на десять,
ничего уже не взвесить,
не прикинуть по уму.

Лишь бы праздновать легко
эти новые утраты,
улыбаться виновато,
что зашёл так далеко.

Воздушный шар

*Моему деду,
воздухоплавателю по призванию*

Старик мой делал воздушный шар.
Я ждал и воображал,
как буду сверху разглядывать город.
– А скоро взлетим? – Конечно скоро.

Старик мой делал вертолёт.
Для этого мы долбили лёд
для аэродрома около дома.
Вертолёт во дворе – очень удобно.

Старик мой делал межпланетный корабль.
Покинуть эту планету пора бы.
Но мы чего-то не рассчитали.
В тот раз нам не хватило стали.

Так было всегда – что-то мешало.
Но мы опять начинали сначала,
не замечая в работе и шуме,
то, что я вырос. То, что он умер.

Остался лишь сюжет разговора.
– А скоро взлетим? – Конечно скоро.

И я жду и воображаю.

Холостяцкая песенка

В густом рассоле дышат караси.
Мой дедушка храпит на небеси.
Но два оживших снова колеса —
в движение приходят телеса.

Мы жалкие глотатели воды,
мы шлёпаем по стеночкам следы,
пока в стеклянных банках зелен лук,
пока ушами слышен птичий стук.

Ты верно понимаешь лишь одно,
животно презирая полотно:
мурлыкают в утробе голоса —
в движение приходят небеса.

Мы жалкие хвататели слюды,
мы держим сковородки у плиты,
пока нам вяжет сеточки паук,
пока нас не подвесили на крюк.

Сообщник

Создание причёски
по линиям лучей,
по компасу и направлению ветра:
ты ёрзаешь – что может быть скучней,
чем не вставать полжизни с табурета.
Что может быть сомнительней цветов,
швыряемых всю жизнь тебе под ноги,
но я, как прежде, дьявольски суров,
не внемлю ни мольбам, ни указаниям,
натягиваю парус, строю замок,
прокладываю длинные дороги,
хотя богиней стать – удел немногих,
а ты мечтаешь, только б выйти замуж.

Души бездорожья

Сергею Тендитному

Ты ли, Боже, бросил дрожжи
в наши души бездорожья,
в наши годы безвре́мья,
размывающие возраст, —
кто-то скажет: день был прожит,
он – ступенечка старенья,
только это будет ложью.
Просто мы сжигали хворост
и корявые поленья,
изучая суть явленья,
чтоб забыть его ещё раз.

Старец из китайского фарфора

Старец из китайского фарфора —
путешественник в сумочке дамы.
Она едет с любовником Жаном
из Парижа в Париж дилижансом.
А старец лежит вверх ногами,
и ему их роман безразличен.
Он надеется – то, что в Париже
поставят к окошку поближе
его согбенное тело.
И он будет глазеть то и дело
на торговцев рисом и перцем,
на китайцев, индусов и персов.
Но любовники из Парижа
никогда и не выезжали.
Они едут в своём дилижансе
из Парижа в Париж уж полжизни.
И полжизни лежит вверх ногами
из фарфора китайского старец.
И не знает, что он не китаец
и мечте его сбыться не скоро.

Мюнхгаузену, знаменитому вспоминальщику

Барон, вы в том же домике
с цветком на подоконнике
или переехали в другое государство?
Все по приезде в Бельгию
по магазинам бегали —
я ж вас найти пытался.

Барон, судьба изменчива,
но с вами та же женщина
живёт и гладит брюки?
Когда я был в Голландии,
мы сами брюки гладили,
щадя тем самым женское достоинство подруги.

Не знаю, с той ли дамою,
но книгу ту же самую
читаете вы на двадцать восьмой странице?
Когда я был в Уэльсе,
с каким-то пэром спелся,
который убеждал меня вас посторониться.

Забывать мне вас советовал,
и только после этого

я понял, что вас нечего искать по заграницам,
что вы всё в том же домике
с цветком на подоконнике
и булки хлеба крошите воронам и синицам.

Калиостро

Зима сгребла в охапки старый рынок,
дома, дворцы, кибитки печенег.
Мои дворы устали от поминок,
и тлеет космос искорками в снег.
Грядущий день в причёске из соломы
стоит у штор, как любопытный паж.
Верхом на спичках важно едут гномы,
теперь они запомнят шёпот наш.
На медных блюдах, лампах, дверках шкафа
проступит навсегда ушедший век.
Вскипает ртуть в живых ладонях графа,
в глазах летит полночный, жёлтый бег.
Ты достаёшь пузырчатые колбы,
железки, склянки, мёртвого ужа, —
ещё вчера доверчивые толпы
склонялись пред тобою, чуть дыша.
И я давно хочу остаться с теми,
кто слушал звон медлительных колёс.
И променять своё сухое время
на сладкий век совсем солёных слёз.
Но вот сквозь окна с мутным пузырьём
мы вновь глядим, покуда вечность длится,
на Петербург, оставленный сновидцам,
мерцающий неоновым огнём.
Становится светлее синева,

простую плоть приобретают тени,
губами произносятся слова,
и нежный шёлк стекает на колени.
И пальцы греют лёгонький фарфор,
что мчит по кругу вдоль имён забытых,
должно быть, не надеясь до сих пор
расслышать нас, живых и неубитых.

Императрица и её гости на Волге

Мы врезались прямо в стаи рыб,
бьющихся ершистыми боками.
И по палубам дощатый скрип
пробежал крутыми каблучками.
Жестом, проливающим вино,
собирая вечных попрошаек,
крошки разлетались в клювы чаек,
так и не ухвачены волной.
Озирая миллион явлений:
баржи, вежи, невод с осетрами,
взлёт совы, мелькание оленей
и падение стволов под топорами, —
мы ласкали взглядами леса,
купола, ограды, спины жнеек,
но летел, как будто сор в глаза,
дикий, непристойно рыжий берег.
Он, чумной, в босых следах и рыбах
под заплесневевшими сетями,
из густых осок бесшумно выпав,
воду по утрам хлебал горстями.
Бормотал на древних языках
и, укрывшись лягушачьим илом,
засыпал у солнца на руках,
становясь младенчески унылым.
Но река опять несла плоты

брёвен, как поверженных гигантов,
во преддверье новой красоты
для богоподобных экскурсантов.
Восторгаясь радугой весла,
я читал в надменности Батыя
на лице заморского посла,
что ему понравилась Россия.

Нарва-Йыэсуу

Что на море тихо и в памяти нету былого,
беглянка шептала, и город названия Таллин,
как мальчик на ялике, был старомодно печален,
дразня огоньками излучину мира иного.

И мы проходили большие послушные воды,
навек расставаясь с привычною болью земною,
и где-то под звёздами лёгкие птиц перелёты
мне часто казались затейливой шуткою злою.

Но я был владелец изысканно скрученной розы,
и, словно увидев ребёнка дикарского юга,
в животном её аромате толпились матросы
и, чисто дыша, тяжело согревали друг друга.

А утром мелькали червлёные туфли по сходням,
и медные стрелы горели на выбритых скулах,
и сто фотографий заморских красоток в исподнем
ломились губами в моих крокодильих баулах.

А вы всё шептали и кутались в нежную гриву:
я знала, что счастье теперь никогда не вернётся.
Запомнила только, что музыка – это красиво,
а хлеб из печи на холёных ладонях не жётся.

Английская набережная

По пристанищам длинным гурьбой содвигая кули —
на холопых горбах синева мукомольного дыма.
И в разбитое русло прохладно идут корабли
на российский порог, исполинского берега мимо.

В померанцевом сумраке мягких ночных колымаг,
где углы истекают глухою ореховой смолкой,
на точёном стекле уместается весь зодиак,
навсегда замороженный вашей державною чёлкой.

Вы слабы и роскошны, как зимний в дурмане цветник,
только властное сердце приучено к мерному стуку:
и трепещет во сне изувера хмельного кадык,
и германец не смеет разинуть щербатую скуку.

Так и должно вершить тишиной повороты ключей,
если глушь постоянства раскинута далью рябою.
И по чёрному голубю грубо равнять лошадей,
наезжая в спокойную стужу кулачного боя.

Так и должно хранить безучастного Севера рост,
если призрак державы в нас горькой отчизною брошен.
И не ведать упрека на зыбком распутии звёзд,
где молитвенный путь, как и каменный дом, невозможен.

И опричную кровью летящих на твой камелёк,
вечной памятью каждой отчаянно райской дороги,
мне мерещится верность ласкающих рыжих чулок
и самой Катарины больные солдатские ноги.

Песня

Полыхнёт окно прежней болью.
Я склонюсь плечом на ограде.
Ты встречай меня хлебом-солью
в самом красном своём наряде.

Шумные леса облетели,
дальние моря расплескались.
Не держи себя в чёрном теле,
мы одни с тобою остались.

Разве простынями по хатам
ветер взаперти не гуляет?
Детушки твои по солдатам,
кто же нам теперь помешает?

Женихи твои по могилам,
и давно убит командир мой.
Милая, зови меня милым,
расплетая косы за ширмой.

За венцы да новые банты
атаман тебя не накажет.
Пусть над ним в раю его банды
чёрными знамёнами машут.

Коль ему в раю под заслуги
на три дня вручили невесту,
на три дня до нашей разлуки
душу горем бабьим не пестуй.

И от разговора с обманом
на крыльце стоять было скользко.
И большак клубился туманом
в ожиданье лютого войска.

Цыганёнок

Все костыли, встающие под сердцем,
уйдут дворами в белом молоке.
Тебя притянут согреть и греться
к высокой, твёрдой маминой ноге.

Пока не повернётся с боку на бок
кот у порога вялым сапогом,
побегай на ходулях косолапых,
выпрашивая дудку со свистком.

И что до них, до первых и последних,
горланящих, заламывая кнут,
когда тебя в узорчатый передник
по крохам на дороге соберут?

Мне б чубуком еловым расколоться,
схватить буханку умными плетями,
но в наших жилах растворилось солнце,
а кудри сладко пахнут лошаадьми.

«Бабы ласковые руки...»

Бабы ласковые руки
спеленают тёплый саван.
Лягут выюги на поляны.
Я заплачу у окна.
Горе нашему ковчегу,
нашим мальчикам кудрявым.
Видишь, по́ снегу искрится
и катается луна.

Видишь, сердце побежало
по голубенькому блюдцу.
Наливными куполами
вспыхнул город вдалеке.
Вот и жизнь моя проходит.
Всё быстрее слёзы льются.
Слёзы льются по рубахе,
высыхают на руке.

Заплутала моя юность
золотым ягнёнком в ясли
и уснула осторожно
на соломенной пыли.
Где мой чудный Китай-город?
Сердце плещется на масле.
Навсегда угомонились

под снегами ковыли.

В Китай-городе гулянка,
девки косы поднимают,
оголяют белы плечи,
губы добрые дают.
А в раю растут берёзы,
а в раю собаки лают,
по большим молочным рекам
ленты длинные плывут.

Ах, куда же я поеду,
светлый мальчик мой кудрявый,
за прозрачные деревья
в лёгком свадебном дыму.
Поцелую нашу мамку
и за первую заставой,
словно мёртвую синицу,
с шеи ладанку сниму.

Верно, я любил другую,
наши праздничные песни
помяни печальным словом —
я прожил на свете зря.
Новый день трясёт полотна,
ветер стучает засовом.
И соломинка по небу
улетает за моря.

«В сторожке летели недели...»

В сторожке летели недели.
Мы только на олове ели.
Крапивою пахли пиры.
Сквозь невода длинные щели,
как нищенки, рыбы глядели,
и кутались в шали бобры.
Но словно трухою играли,
ворочались и замирали
холёные руки в шитье.
Шептали полынные чащи:
твоё одиночество слаще.
Вода остывала в бадье.
Вот так и прожили случайно,
а матушка тихо и тайно
сама целовала дитя.
Дышала в лицо черемшою,
и женщиной, будто чужою,
бывала со мною шутя.

«Говорила, станешь паном...»

Говорила, станешь паном.
Счастье – только мне ли?
Над холодным океаном
птицы грустно пели.
Над холодным океаном
поднимался парус.
Говорила, станешь паном —
я с тобой останусь.
Я глаза твои закрою,
я тебя утешу.
Над высокою свечою
образок повешу.
Пожалею Бога Сына,
только встанет зорька,
вылью воду из кувшина
и заплачу горько.

Кузбасский посёлок

отцу

На белом свете, в дальнем далеке,
на празднике цветов в шахтёрском городке,
где птицы с горьким щавелём дружили,
где плачет мастерица в туесок
и пёстрая лошадка греет бок.
А нас поцеловали и забыли.

И мы гуляем с куклой на полу,
и так тепло – и скоро быть теплу,
неслышному, как матушкины слёзы.
На станции гармоника дурит,
и возле костыля сапог блестит,
черно и жадно дышат паровозы.

Всё так давно и будто не про нас.
Мой милый, добрый день – весёлый час,
нам снова ждать то счастья, то парома.
И плачется, и верится едва,
и нет ни простоты, ни воровства.
Была война. А мы остались дома.

Мemento на дачную тему

Ёжик, ёжик, мы умрём?
Мне сказали, что я добрый.

Из земли уходит лето.
Остывают пятаки.

Нас отпустят по воде.
Я лицом на скатерть лягу.
Ты свернись в цыганской кепке.
Поплывём и поплывём.

Осень, бедная вдова,
разбросай свою солому
всем охотникам под ноги,
дождевых червей укрой.

Мне сказали, что я злой.
Мне, наверно, повезло.

Я уехал не простившись,
не поверил, не признался.
Я случайно соль рассыпал
в вашей даче на столе.

Я не помню, что когда-то

говорил с печальным зверем.
Чёрно-белый фильм вертели,
длинный чёрно-белый фильм.

Песенка сквозняка

Дающие обещания
хранят не молчанье, а золото.
Ищут поляны щавеля,
вступают в озёра холода.

Спешат в перепады, в полосы,
под птичьим мельканьем прячутся.
Не спрашивают вполголоса,
когда им судьба назначится.

Для них больше нету времени
царями быть, пилигримами,
причислиться к роду-племени,
остаться навек любимыми —

их радуют только мельницы,
где тихо пшеница падает,
за то, что вот-вот изменится
всё то, что сегодня радует.

Зачем же ты, моя дальняя,
фонарь на двери привесила?
Свистеть в пустоту нахальнее
и даже весело. Весело.

Календарь вспоминальщика

Календарь вспоминальщика, наоборот,
отворил мне не новый, а старый год:
были счастливы – от людей в тени
каждый час под куриным крылом храни.
Не получится – станешь ветер звать;
может, к лучшему – молодым опять?
– Только ворохи писем по тебе.
– Только шорохи во печной трубе.

Воспитание иголки

Как по городу под шорохи метлы
походенья старой штопальной иглы,
так и катится по жизни прежний страх,
всё пытаюсь что-то вспомнить впопыхах.
То закатится в засохший водосток,
на подошве проскрипит, будто песок.
То, сверкнув железной дужкой за углом,
прикорнёт у глупой птицы под крылом.
То ли просто ночью с неба упадёт,
наугад к знакомой улице прильнёт —
к стёртым камушкам и лестницам пустым,
рассыпаясь прежним звоном золотым.
Тихой шуткою, что вечно на слуху,
давней славой, извалявшейся в пуху, —
все мы что-то обещали, да ушли,
потерявшись где-то в уличной пыли.

Убежище

Собачьего вальса глухие шажки
в окне над откосом фабричной реки,
устало, как звуки кроватных пружин,
плутают в клаксонах проезжих машин.

Уже увядает продажа цветов,
ненужная роскошь для жаждущих ртов,
в последний разок поглядев свысока,
уходит за ставни сырого ларька.

Мне трудно понять – я в гостях или нет,
но, судя по облику старых штиблет,
привычных и к этим пустым мостовым,
я мог бы считаться отчасти своим.

Обычная хитрость жить в разных местах,
подолгу стоять на вокзальных мостах,
чтоб, спутав по новой свои же пути,
ты мог поклониться и тихо уйти.

Холодная осень забытых вещей,
заляпанных в юности модных плащей,
где всё намекает в плену серых луж
поверить опять в возвращение душ.

Трамваи, везущие жёлтую муть.

Мой голос, теряющий всякую суть.

Огромная почта с последним письмом,
там, где мы с тобой этот дождь переждём.

Черноморская песенка

Ах, матросик в синей матроске,
по прибрежной морской полоске
погуляешь ли, просто присядешь
отдохнуть на сырые доски?

Что до пива в тяжёлой квартире,
крупной ставки на бильярде,
коль цветными кругами по пыльной воде
расплывается мир по карте?

Что запомнится в разговоре
с пассажиркой в ночном Босфоре —
неужели и вправду, согласно судьбе,
в каждом мире есть выход к морю?

Ты рисуешь слова в кроссвордах,
будто знаешь повадки мёртвых.
И у них от досады за глупый ответ
не колышется кровь в аортах.

И потом, огибая лужи,
ты проходишь насквозь их души.
От лукавых улыбок, глядящих вослед,
лишь к рассвету краснеют уши.

Вифлеем

Сарайчики, вышки, домишки, дома,
невестка, золовка, свекровка, кума.
Словечки из песен развеются в дым,
как только их скажешь одно за другим.

Шумит, как скворечник, железная печь.
Никто нас не сможет с тобой уберечь
от прядок, повадок, укладок в постель,
от вечных подглядок в замочную щель.

И кажется, сделаешь первый глоток,
а там и столетье исчезло в песок.
И где-то за кромкой глухого ума —
зимовье, безмолвье, вселенская тьма...

И завтра нам нужно идти в Вифлеем.
Попробовать всё разлюбить насовсем.
И замкнутым кругом измеривши твердь,
с прощальным испугом на небо смотреть.

«Тронуть шторы пыльный кокон...»

памяти Марины Георгадзе

Тронуть шторы пыльный кокон,
вспомнить ради глупой шутки,
сколько раз за жизнь вдоль окон
мимо пролетали утки.

День бескрайний начинался,
тут же в памяти оставшись.
И ты вновь навек прощался,
так ни с кем и не встречавшись.

Видал в небе птичьи стаи...
листья... снег... флажки вокзала...
засыпая... исчезаю...
Но ничто не исчезало.

Тот же быстрый взгляд ребёнка,
убегающий из кадра, —
и вот-вот тебе вдогонку
хлопнет дверь кинотеатра.

«Это в памяти и вечно на слуху...»

Это в памяти и вечно на слуху:
на далёкий путь врывается состав.
Замирает, рассыпается в труху,
за собой двенадцать жизней наверстав.
Так и каждая счастливейшая весть,
в нежных пальцах превратившаяся в ложь,
погибает, понимая, что ты – есть
и, как прежде, глядя в полночь,
что-то ждёшь.

Опыты со снегом

Под вечер город сделался скрипучим,
словно под ухом жёсткое перо
бессонницы, и можно слышать
хруст снега,
семейные прогулки стариков
(которым тоже до сих пор не спится)
или трёхногий бег смурных дворняг.
Наверно, лучше оставаться дома.

К тому же холод, всюду грабежи,
по крайней мере судя по газетам...
А если и враньё, то всё равно
у тётки нет билетов на трамвай.

Если идти, то только на проспект.
Сперва в один конец, потом обратно,
гадая, почему губернский воздух
так пахнет разворошенным костром.

И, может, стоит вспомнить о любви.
Под фонарём уютно, как на кухне.
Здесь к тишине приучены с рожденья
и разве что приезжего бьёт страх.

Зимою город – как военный плац,

такой же жадный до любого звука,
что стоит чиркнуть спичкой посильнее —
и где-то передёрнется затвор.

Поэтому гуляем не спеша.
Желательно – на войлочной подошве.
Оставив в стороне приют вокзалов,
казармы и родильные дома.

Злые дети

От медной монетки, щепотки света,
упавших когда-то на дно колодца,
вода, вспоминая про Архимеда,
однажды тебе на ладонь прольётся.
Песок обратится ржаной мукою,
устан рассыпаться на мокрых плёсах.
Попробуй на это махнуть рукою,
легко затеряться в чужих вопросах.
Не всё ли равно, кто построил город,
на благо сложив свои белые кости?
Покуда поэт остаётся молод,
он может поехать в любые гости.
Есть люди, чьи корни питает воздух,
лаская их до ледяного срока,
но и на суде при усталых звёздах
они не заслуживают упрёка.
Поскольку для памяти всех столетий,
что кружит, как голубь, на вольной воле,
дороже всего эти злые дети,
не знавшие век безысходной боли.

До свидания

Я скажу до свидания каждому кораблю,
каждой птице, собирающейся на юг,
каждой девушке, которую полюблю.
И безвольно выпущу из рук.

Мне не хватит ни молодости, ни простоты
признать за собой какую-нибудь вину.
Вот и осень расшвыривает листья,
укрывая и эту страну.

И ветер баюкает – большего не проси,
погружая жилище в глухую тьму.
Если свадьба играется где-то на небеси,
её не слышно в твоём доме.

Я не знаю, кто здесь останется навсегда,
а кому потом предстоит бесконечный путь.
Но на свете уже есть города,
где мне никогда не уснуть.

Я готов, если нужно, назвать их число,
имя каждого города, где любил.
И можно считать, что мне сказочно повезло,
раз прочее позабыл.

Угловой дом

Я дружил с вентилятором
по лётчицкой давней привычке,
раздражал солнечным зайцем соседей напротив,
хотя хорошо понимал, что после обеда
они начнут раздражать меня тем же самым.

Это было похоже на равноправность дуэли.
Но, несмотря ни на что, наш дом был особым.
Из-за ласточек. Только на наших карнизах
они делали свои круглые гнёзда.

Напротив были студенческие общаги.
Там тоже каждый год кто-то гнездилился,
швырял наружу магнитофонную ленту,
обливал водой из ведра случайных прохожих.

Да что про то говорить. Вы, наверное, в курсе.
Это был самый клёвый город на свете.
Всё было рядом. Сокровища в чёрном подвале.
Загадочный клуб покорителей дельтаплана.
Река в конце улицы. Морг судмедэкспертизы,
где я влюбился в голую мёртвую даму.

Здесь выгодней было казаться аборигеном.
Я с детства знал наизусть все винные точки

и давал консультации приезжающей молодежи.

Мой дед работал инструктором лыжной базы.
Мои друзья умели сбивать кедровые шишки.
Мой брат-близнец утонул в унитазе роддома.
И, если учесть, что я не должен был выжить,
мне сам Господь велел заниматься чем-то забавным.

Вот я и мечтал стать великим Робертом Плантом,
непревзойдённо визжать перед сонмом поклонниц,
разрывать на себе шёлковую рубаху.
Я им не стал. Будем считать, что так лучше.

Но теперь, после всего, что случилось,
я нахожу в сундуке забытые письма.
Они про любовь. Хотя невозможно вспомнить,
кто их написал и за какие заслуги.

Я ощущаю себя смешным стариком Казановой.
Кто-то умер. Остальные стали чужими.
Я почему-то остался по-прежнему счастлив.

Должно быть, поэтому мне сейчас так тошно.

Невидимые встречи

В тумане возрастает скорость звука,
поскольку больше не видать ни зги,
нам начинают слышаться шаги
приехавшего на свиданье друга.

Как он, спеша, проходит виадук
и около ларька шуршит деньгами.
И время разбегается кругами,
предвидя сердцем каждый новый звук.

Капель из крана, бабушкин сундук,
скрипящий чешуёй сухого лука.
И только слёзы, музыка и вьюга
способны заглушить такой испуг.

В тумане, как во сне, не счесть разлук.
И тем дороже слушать до рассвета
какой-то звонкий смех с другого света,
гул поездов, катящихся на юг.

Саванна

Водянистой медузой станет морской пират,
смытый за борт фрегата коварной морской волной,
чтобы через столетье, припомнив заветный клад,
распластаться по мокрому берегу сединой.

Благородным семейством взойдёт сухопутный клан
каторжан, что рассеялись здесь как сухой горох.
У природы имелся в запасе беспутный план
насмеяться над правильной связью былых эпох.

И солдаты враждующих армий, сжимая сталь,
продвигаясь друг к другу под грохот стальных копыт,
вдруг привстанут из сёдел и глянут куда-то вдаль,
чтобы тотчас застыть на опорах гранитных плит.

Остальное явилось на днях, воплощая рай.
И восьмой день творенья был тоже совсем не плох,
если прямо под окнами утром гремит трамвай,
а на ветках качается страшный испанский мох.

Не беда, что тебя до сих пор не зовёт восход,
вместо хижин туземцев белеет цепочка клумб.
Но истории, верно, придётся дать задний ход,
если к этой земле в сотый раз приплывёт Колумб.

А пока всё, что есть, – это джинсы пяти заплат,
горизонт, убегающий вместе с большой волной,
городок, где, нас вместе с тобой уводя назад,
вкусно пахнет Одессой в холодной, пустой пивной.

Сон в Сан-Хосе, почти во Фриско

– Матушка, кто это?

– Это шумит берёза.

К нам возвратились деревья сожжённых гаремов,
они выходят на берег со дна океана,
несут тело султана.

Никогда не слушай шёпота спящих,
не проси пера у стрелы, просвистевшей мимо.
Сестра ветряной мельницы и соломы,
я тебе говорю.

– Матушка, что это?

– Это сжигают ведьму.

К нам возвратились кремень и стальное железо,
если бросить их в воду – они утонут,
усопших тронут.

Но знай, что ведьма всегда поднимется в небо,
даже если укутает ноги рыбацьей сетью.
Хозяйка трёх пуговиц и папиросы,
я так всегда говорю.

– Матушка, где мы?

– Должно быть, уже в Китае.

И китайцы к нам скоро вернуться в бумажных лодках,

они в соседних мирах стрекозу ловили,
вина не пили.

Навсегда измени магнитом солёный полюс,
собери из воды все молекулы дыма.
Повенчай живую сову с электрической лампой.
Так ты всегда и хотел.

Монте-Дьяболо

Порядок жёлтых пятен и теней
в большом сельскохозяйственном пейзаже,
разбросанных по гладкошёрстным склонам
овсяных гор.

Закат похож, в сравнении с долиной,
на бесконечно длящуюся вспышку
Когда так много света – это страшно.
(Латунь всегда эффектнее, чем медь.)
Я слышал, здесь часы идут быстрее.
Чем выше в горы – тем быстрее. Бледнее тени
от хрупких человеческих существ.
То ли открыть глаза, то ли зажмурить...

Трава щекочет голени коров,
словно босые ноги прокажённых.
Вдоль серпантина – земляные белки
играют с мёртвой ящерицей.

Я

нарочно приезжал сюда, чтоб возвратиться:
сперва на десять дней, потом на год.
Сначала в гости к прошлому, потом —
к койоту на вертлявое шоссе.

Он так бы и стоял среди дороги,
не выражая голода и страха,

ни бликов сна, огня и любопытства.

Я думаю, он там так и стоит.

Покой всегда эффектнее, чем смерть.

Не потому ли Дьявольскую гору

назвали так за странную любовь

к бескрайним взглядам и

нагромождениям солнца?

Русский путешественник (1)

Перепорхнув над синими лесами,
цикада заселяет старый флигель.
И на устах злодейки трель да гибель
альпийскими ликует голосами.

И горожане, кутаясь в постели,
уходят в тайны прошлого щекою.
И только нас её пустые трели
зовут не верить в искренность покоя.

Они торопят ночь, будто цитата.
И в ней никак не вычислить подвоха,
когда во тьме не видно циферблата,
но наступила новая эпоха.

А вот и церкви звонницы качнули,
по городкам летя в иные дали —
как будто мы кого-то обманули,
раз до рассвета очи не смыкали.

И даже не надеясь на беседу,
мечтая в нежный Цюрих возвратиться,
мы принесли цветы на двор поэту —
и Лафатер запомнил наши лица.

И я, простившись с вечностью в долине,
ушёл к мельканью ласточек в утёсах,
забыл молитвы, грешные отныне,
и отпустил по ветру лёгкий посох.

Русский путешественник (2)

Мимо лестниц, мимо мокрых простыней
длится старый, длится новый коридор.
В лабиринтах жизнь становится длинней,
перед тем как снова выйдешь на простор.

И на глупую прогулку в сотый раз,
кое-как набравшись храбрости во сне,
ты пускаешься, не поднимая глаз,
чтоб не видеть прорезь неба в вышине.

Ничего тебе, увы, не говорят
эти вывески и стрелки по углам.
Ты не веришь, что воротиться назад,
но идёшь как бы по собственным делам.

И, расслабленно теряясь в пустоте,
в тупиках уныло путаешь следы.
Всё равно вот-вот протиснешься к воде.
Ни одной нет больше лодки у воды.

Лишь касаясь постаментов и витрин,
волны что-то предвещают вразнобой.
То ли гвельфы встанут с шёлковых перин,
гибеллины в город ринутся гурьбой.

То ль над ухом жадно щёлкнет хищный клюв,
полянёт вдогонку ветреный пожар,
то ль в огне раскрытой двери стеклодув
твоё прошлое вдохнёт в прозрачный шар.

Бедный варвар, убежавший от своих,
разоривший Аквилею в пух и прах,
всё мечтаешь, как остаться бы в живых
в этих тонущих, бессмертных городах.

Из сборника «Час приземления птиц» (2000)

«До рассвета ласточке влюблённой...»

Ласточке

До рассвета ласточке влюблённой
выдан отпуск в дождике метаться,
сквозь косой туман воздушных просек
вылетать моряной да ищейкой.
Знаешь, если думать без истерик,
то покой берётся ниоткуда.
Я всего лишь ветреный матросик,
так же невпопад одушевлённый;
лёгкий, будто сшитый беложивкой,
в первый раз сходя на новый берег,
не смогу ни встретить, ни расстаться,
скользкие деньки свои забуду,
раз уж мне вернуть не довелось их.

Свадебное путешествие

Взяв дугу горизонта наперевес,
солнце врезáлось в столетний лес,
и я самый грешный из наших дней
отсекал до корней.

Вдоль по склонам проскакивали бугры,
словно голые ржавые топоры.
И, обернувшись, каждый куст
рассыпáлся в хруст.

Я ехал, я так любил тебя,
чтобы в сердце билось два воробья,
чтобы мой позавчерашний храп
убегал, как от хозяина раб.

По протокам проскакивали угри,
точили низ ледяной горы,
а потом кукушкино яйцо
бросали под колесо.

Рассвет стоял в ветровом стекле,
он был единственным на земле,
он выползал, он тщедушил бровь.
У него была кровь.

И я не дышал, как на море штиль,
завернув тебя в небольшой наряд,
я вёз твою матку за тысячу миль.
Много дней подряд.

Она там плыла, как лицо в серьгах,
в фотографических мозгах,
как царица в серебряном гамаке.
Раскачиваясь в глубоке.

Из морей выпрыгивали киты,
и глубины на миг становились пусты.
И цветастые клёвера вороха
вплетались в коровьи потроха.

Голограмма

Нет солёнее ветра, чем суховей.
У океана лишь два лица.
Одно – в дуге молодых бровей,
другое – в оспине мертвеца.

На земле есть россыпь цветных церквей,
все похожие на отца,
словно женщины, судьбой своей,
выходят из-под резца.

Земля черепиц, черепах, червей
копошащаяся пыльца,
пред которой сколько ты ни трезвей,
всё равно упадешь с крыльца.

Неизвестно, каких голубых кровей
в лесах – нету им конца, —
надрывается трелями соловей.
Он не вылупился из яйца.

Shell beach

Лес бы совсем одурел, собрав междометья
наших бесед. И я вспоминать не стану.
Проглоти моё сердце. И я не замечу.
Только выведи меня к океану.
Разбери бурелом, взломай телесные клетки,
доведи до последнего часа в этом столетье.

Они падали накрест, они проспали столетья.
Их стволы тянули слезу в трухлявые трубы.
Сколько буду идти, столько буду стареть я.
Иди рядом со мной. Подожди свои губы.
И, сорвав с паутин очертания птицы и крысы,
мы прошли сквозь кулисы.

Мы разгладили травы. Легли животами в скалах.
Стало ясно, что чему соприродней.
Океан ворочал глазищами в мутных обвалах,
он поднимал горбы в битых кристаллах.
И только далёкий огонь корчмы новогодней
выделял место души во всей преисподней.

Он расширял свой объём в неизмеренной лени,
купааясь в корыте слепым большеногим младенцем.
Безгрешные раздвигались его колени,
ломая пастушьи миры с соловьиным коленцем.

И четыре зрачка, опустившие взоры с карниза,
ждали очередного его каприза.

Он сушил свои крылья на безымянных утёсах,
пятернёй на них выцарапывал своё имя.
Истоптанный виноград на крестьянских лозах
топорщился, изливаясь сквозь чёрное вымя.
И, навеки смыкаясь с таким же рыбачьим небом,
он делал луну просолённым хлебом.

У него были плоские лбы, наподобье налима.
Он вытягивал к берегу илистые ладони.
Его тело было настолько необозримо,
словно солнце, рассыпавшееся на троне.
Он купал на волнах одного за другим великана.
Он был океан, где другого нет океана.
И две головы свешивались с вершины,
в ужасе кипящей под ними первопричины.

С Новым годом. Теперь совсем с Новым годом.
Мне было не страшно лежать на самой кромке.
Мы становились с тобою другим народом,
звёзды глядели в затылок нам, как потомки.
Двенадцать пробило, вниз сорвались перила.
И наши глотки стали остры, как вилы.

Ты захотела смерти. Я помню кожу,
влажную, земноводную. Помню отвагу,
сжимающего ту, что всех дороже,

со злостью комкающего эту бумагу,
пытающегося вернуть безмерности твердь размера.
Потом стала светлей земли атмосфера.

Мы забыли, как мы царапались, извивались,
перевалив через рубеж бесконечно малых.
Отряхая с себя песок, мы извинялись
перед солнцем, встающим на пьедесталах.
Но наши глаза ещё были полны прохлады.
Пробуждение – всегда чувство утраты.

У нас под ногами раскидывалась долина.
В ней чувствовались превосходство или лукавство.
Лоза копила в корнях золотые вина.
Нам пчёлы несли в жёлтых ложках своё лекарство.
И была темнота, как разверстая грубая рана.
И океан, где другого нет океана.

Так что с праздником тебя, с Новым годом.
Мы учились становиться совсем ничьими.
Я в саранче крошечной, перед исходом,
успел ещё один раз повторить твоё имя.
Я вернулся, я возвратил тебя с вечного фронта.
Я сумел различить над водой черту горизонта.

Сердце-пастырь (Новый Брегам Янг)

Около дома когда-нибудь встанут горы.
И за ними бескрайние лягут степи.
Словно строфы Завета в сцепленьях Торы,
из расщелин небес загрохочут цепи.

И устами пророка и конвоира
сердце скажет паломникам прежних судеб:
«Я вело вас сюда, в середину мира,
оставайтесь, никто вас здесь не осудит.

Здесь ещё не родился огонь сомненья,
как младенец, спелёнутый горьким стоном.
И любое Господне моё веленье
станет вечным для вас законом.

Я не дам вам ни пороха, ни коровы.
Пейте воду, пеките хлеба́ из пыли.
Не ищите для крови другой основы —
оставайтесь такими, какими были.

Вы ушли и плутаете в сновиденьях,
но теперь я для вас выбираю место
среди заснеженных скал и холмов осенних

вместо стран и планет, океана вместо.

А потом я уйду, куда вы не в силах,
стиснув зубы, идти по пятам за мною,
оставляя одежды домов постылых,
наедине со своей виною.

И, тревожно качая путей помосты,
я забуду вас, будто детей пустыни.
И увижу, что в небе сгорели звёзды.
И пылает костёр на чужой вершине».

Дельта

Существует такая бескрайняя местность:
песчаные плёсы, речные архипелаги,
большая вода, уходящая на север,
куда-то в безлюдность,
в затерянность,
в неизвестность.

Она забирает попутно несчётный мусор,
замшелые лодки, рыбацкие снасти, флаги,
из губ разомлевших коров обронённый клевер,
предпочитая всему одно – двигаться мимо
тебя ли, меня;

уносить наши взгляды,
как шорохи хищных птиц, горький запах дыма,
ибо взгляд над рекой сам собой означает честность,
а мусор имеет привычку тянуться к влаге.
Пожалуй, я помню об этом – припоминаю,
хотя и смущён отдалённостью той прохлады,
а спроси меня, что есть дом,
я скажу: не знаю,
спроси меня, что есть путь,
я скажу: не знаю,
только имя своё запишу на клочке бумаги.

Обряд

В молитве сдвигает ладони метель.
Окно превращается в узкую щель,
вставая один на один во весь дом
с ночной пустотою в проёме дверном.
Часами, не зная предельных границ,
растёт напряжение стен, половиц,
пытаясь объять от угла до угла
всему безразличную сущность тепла.
Когда, отмелькав по дневному лицу,
жилище запретно любому жильцу —
душа, выполняя обряд старшинства,
зиме возвращает былые права.

Зимний дендрарий

Чердаки заполняются птицами, как притоны.
Города умещаются в жизнь своего вокзала.
И природа, предчувствуя наши чудные стоны,
с головою уходит в мохнатое одеяло.

Значит, можно опять залечь беспробудным лежнем,
лишь бы только дожить до рождественского подарка.
Если что-то и говорит о совсем нездешнем,
то названья деревьев из городского парка.

Там, где прячутся на ночь за десятью замками
меловые дорожки, пустые дворцы беседок.
И огонь больших фонарей, разбегаясь кругами,
приглашает кого-нибудь пройти напоследок.

Пьяный сторож обходит дозором залежи снега,
соблюдая с привычной прилежностью свой сценарий,
охраняя то ль от половца, то ль от печенега
драгоценный, уже истлевший гербарий.

И колючих кустарников ледяные каркасы,
по-монашески сжавшись в шерстяной мешковине,
переводят неизъяснимо простые людские фразы
на язык ботанической, полужемной латыни.

Каждый цветок заколочен в дощатый ящик.
И теперь мертвецы, найдя в себе силы,
променяв свою жалкую роль на труды скорбящих,
должны прийти и оплакать эти могилы.

Предновогодняя прогулка по Свердловску

Здесь бледнеет на морозе злой медведь,
глядя вместе с медвежонком в чёрный двор,
начиная просветляться и трезветь,
будто грустный человечеству укор.

И по лавкам и вокзалам круглый день,
и на почтах, прокопчённых сургучом,
не видение, не сумрачная тень —
земляки пугливо жмутся за плечом.

И по рынку рёбра конские в мешке
громыхают, как Юровского шаги,
что заходится в промёрзшем бардаке,
встав во гробе, как всегда, не с той ноги.

И на площади, где зверя след простыл,
в приоткрытую меж временами щель,
не шадя своих последних общих сил,
город тянет в небеса большую ель.

И не вспомнить, где посеял медный грош,
только к ночи воротясь со стороны,
если звёзды снова ждут, что упадёшь,

лишь бы броситься всей стаей со спины.

Месть

Алёне

Вода замыкает свои круги.
Становится выше гора Ульхун.
Я слышал вчера перезвон колёс,
как будто прошло уже двести лет.

Как будто, дожившие до зимы,
мы были счастливы только здесь.
Позволь мне ещё постоять в дверях,
дай неподышать мне, пока ты спишь.

Тебя не узнает твоя сестра,
годами глядя тебе в лицо.
Зачем собирать камыши со дна,
бежать за золотым клубком?

Твой сон выпадает из лап ежа
на скользкий,
 прибитый морозом мох,
где я проходил по тропинке вниз
единственный раз, единственный раз.

И я не знаю, о чём молчал
твой чёрный от чернослива рот.

Я забрал твою молодость словно вздох,
чтоб ты и не вспомнила, был ли гость.

Табу детской комнаты

Окно вымыли на ночь.
Оно стало совсем холодным.
Мне нельзя пить чистую воду,
брать руками круглые вещи.
Мне нужно привыкнуть к другому.
К белой щёлочи, к чёрной марле,
к кускам сухого картона.
Вот и довольно свободы.
Неизвестно, что более тщетно —
покой или беспокойство...
Точно так же мечтают кошки
гладить волосы человека.
Я готов промолчать и об этом.
Глухота почти идеальна.
Всё равно, о чём ты попросишь.
Всё равно нужны только двери.

Калиф на час

Птицы, хотя их много на одного
тебя, присмирившего на исходе зимы,
могут вернуться только в родимый край,
ни о чём не задуматься, не принести письма.
Их трудно назвать земляками, этих бродяг.
Им слишком нравится солнце, а воровство —
любимое дело всех перелётных стай,
тем более всюду им пастбища, закрома...
Вполне простое событие.

Итак,

ты волен не слушать их крики, хлопки, шумы;
забыть осторожность, грядущее сжать в кулак,
ничего не дожидаться и не сойти с ума.
Играют фалангами пальцев – мол, кто кого?
Слабеют, маются, тянутся взять займы,
комкают справку на вход в вождеденный рай
рабочие руки у вышедшего из тюрьмы.

Песня

Маше Максимовой

В городе, во столице,
в городе первого сорта,
выдали девицу, выдали девицу
замуж за чёрта.

Не за воровского чечена,
не за старика с толстой мошною.
Бабка Аграфена, выведи из плена,
побудь со мною.

Бабка, дай мне совета.
Он видит каждое моё слово.
Креста на нём нету,
не сживёшь его со свету,
а на сердце у него – подкова.

А чресла его как мочала
в чавканье конского мыла.
Долго я молчала, а когда закричала —
от простуды простыла.

Он подарил мне алмаз на шею.
У него друзья все – артисты.

Если овдовею – глаз поднять не смею
на образ Девы Пречистой.

Он ходил по кругу кругами.

Он кормил меня пирогами.

В городе-столице нет другой девицы
с белыми такими ногами.

Зима в Ливадии

Ну а если в Ливадии снова не будет зимы —
Если в синем батисте и легким плащом не укрыты —
Чем ещё недоступнее, тем никогда не забыты —
Словно вправду несчастные, тихие около тьмы —

Если прямо с базара, не хлопая настезь дверьми —
В дорогую аптеку, встречая немые гостинцы —
У сухого прилавка со скрученной ниткой мизинцы —
Не сердись, это роза, хотя бы на память возьми —

Говори о минувшем, хоть в памяти нет ни души —
Желторотая шельма свистящей дворовой элиты —
Наши лучшие годы как будто из бочки умыты —
Вспоминай, это чайная роза из царской глуши —

Вспоминай, будто мальчик про чёрные очи поёт —
В тишине, на коленях какой-нибудь жалобной тётки —
Будто катятся в Ялту тяжёлые рыжие лодки —
Только эта, под парусом, раньше других доплывёт —

Вот и всё... и быстрее... я тоже хочу навсегда —
Может, нас, ненаглядных, хотя бы бродяга полюбит —
С золотыми перстнями красивую руку отрубит —
И уйдёт, и уедет, и горе пройдёт без следа —

И уйдёт, и уедет, хоть страшные песни пиши —
Ни дороги... ни тьмы... ни пурги... неизвестно откуда —
Словно срок арестанта всегда в ожидании чуда —
Но ещё недоступнее, если любить за гроши —

Но ещё недоступнее, чем у тебя на груди, —
В разноцветных нарядах, чужая, сезонная птица —
О тебе, о тебе, замороженной в вечном пути, —
Наша лютая ненависть синему морю приснится —

Подожди, это роза, в Ливадии нету зимы, подожди.

«Ты однажды приедешь в пустынный дом...»

Василию Лупачёву

Ты однажды приедешь в пустынный дом,
что, как сказочный лес, стал тебе дремуч,
но в густой паутине над косяком,
как и прежде, лежит серебристый ключ.

Где-то здесь, отвязав на дворе коней,
ты был должен остаться и вечно жить.
Ты войдёшь в шаткий мир нежилых теней,
для того чтоб хотя бы цветы полить.

Вряд ли что-то теперь вызывает страх,
что случайно найдёшь непростой ответ.
Всё осталось стоять на своих местах,
потому что ты не включаешь свет.

И не нужно таиться нечистых сил,
услышав сладкий запах её духов,
всё равно ты не любишь и не любил,
заглянул на минуту – и был таков.

Иль отыщешь перчатку, трухой шурша,

в сундуках, где немислим заветный клад,
будто в ней и хранилась твоя душа,
что оставил лет десять тому назад.

Изумрудный город

Ночь нарастает, царит, довлеет.
Лоб о тяжёлые окна студит.
В доме у мужа жена болеет.
Никто не знает, что дальше будет.

Муж бродит один по пустому дому.
В глазах его бродят чуткие звери
ко всему неизведанному и чужому,
он одну за другой закрывает двери.

На кровать садится, берёт её руку,
но гадать по линиям не умеет.
Как разогнать им тоску и скуку:
в доме у мужа жена болеет.

Он читает ей старую, детскую книгу.
И мурашки бегут за его ворот.
И вдруг прозревает, сходя до крика:
«Мы должны идти в Изумрудный город».

И они кладут провиант в корзину.
Уходят удаче своей навстречу.
И горящие окна глядят им в спину
до тех пор, пока не догорели свечи.

Рождественская считалка

Дороги завязаны в узелок,
в еловый венок
у наших дверей.

Походные трости встают в уголок,
глядят в потолок
на поводырей.

Легко забывается давний зарок
пускать на порог
лютых зверей.

Дай им ещё маленький срок,
и кто был жесток —
станет добрей.

Пока, заблудившись, летит на восток
утлый челнок
в пучине морей,
у мира родился любимый сынок.

Пока он не Бог,
его и согрей.

«Ты, наверно, ничего не поймёшь...»

Ты, наверно, ничего не поймёшь,
потому что я пишу в темноте.
Кто-то спрятал под полкой острый нож,
кто-то вскрикнул на далёкой версте.

Кто-то выхолил коня на войну —
с длинной гривой наподобие крыл —
и, приблизившись к родному окну,
не спеша глухие ставни прикрыл.

Если голубь залетел в чёрный лес,
чтоб доверчиво упасть на ладонь,
вряд ли ловчего попутает бес
засветить ему в дороге огонь.

Если нужно, как задумал Господь,
променять шелка на старенький креп,
впопыхах твой гребешок расколоть,
наступить ногой на свадебный хлеб —

я пишу тебе письмо в темноте,
и гляжу перед собой в темноту.
А до подписи на чистом листе
я немного поживу... подожду...

Цинга

В апреле слетает шарм с квартирных хозяек,
со всех, с кем весело пил, счастливо братался;
однако потом кто-то из вас

сделался хуже —

по крайней мере, идти на огонь уже слишком стыдно.

За тобой волочатся болезни прошедшей спячки:

дорогие подарки, кусты новогодних ёлок,

разговор с другом детства, тревожный как крик

из шахты,

телефонные тайны всяческих мусек, заек.

Всё труднее быть вежливым, правильным.

К тому же

невозможно не видеть, сколько б ты ни старался,

как уродство ласкает повсюду другое уродство —

и, хотя улыбается, любит: но всё-таки видно...

И теперь, может быть, даже тебе понятно,

почему Гулливер, возвратившись,

тянулся к лошадкам, гномам;

почему ты сам, как прежде, счастлив любой подачке,

разглядев на асфальте монетку, стекла осколок.

После таянья снега ты тоже пришёл обратно

в нормальную грязь, в эти рябые ландшафты

огромной страны, где лучше быть незнакомым

ни с кем;

где ты принял родство и сходство;

где жил в трёх городах. И нигде не остался.

«Только там, где сможешь ты проснуться...»

Майе Никулиной

Только там, где сможешь ты проснуться,
обманув испуганное время
на секунду жизни льна, крапивы,
на одну куриную минуту,
торопясь куда-то в холод, в запах гари,
в недомолвки, в отзвуки, обрывы,
в безразлично смешанное племя,
чтоб уже не знать,

куда вернуться, —
ты захочешь петь о чём-то новом,
позабудешь вкус надежды, жажды,
повторений ласковую смуту,
будущие праздники, поминки:
там тебе не верилось, что каждый
перед смертью шепчет – благодарен.
Только там, где сможешь ты проснуться,
никогда последнего

однажды,
прислонясь к белёсому уюту,
на окне застыв листком кленовым,
сжавшись красным локоном в косынке,

скомканной перчаткой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.